

# Лес и лабиринт. К экологии субъекта

ДМИТРИЙ КРАЛЕЧКИН

Философ, переводчик, независимый исследователь (Москва).

E-mail: euroontology@mail.ru.

*Ключевые слова:* субъект; действия; движения;  
Генри Дэвид Торо; Ролан Барт; лес; лабиринт.

Понятие субъекта рассматривается в статье как способ связывания двух терминов — движений и действий. Классические теории действия предполагали субъекта в качестве выделенного способа соотнесения движений и действий или перевода одного в другое. Надежным инструментом такого перевода служила «душа» как естественный комплекс когнитивных и волевых способностей. Новое время, однако, сталкивается с проблемой «недостаточности души», каковая означает появление самого понятия и проблематики субъекта. Различные способы перевода движений в действия не всегда допускают устойчивую субъективацию, указывая на наличие «транспорта» как опосредующего термина в оппозиции движений и действий. Между «физикой» движений и «этикой» действий обнаруживается промежуточный регион — «логика» транспорта, под которой следует понимать открытое множество способов корреляции движений и действий. Проблематичная функция транспорта выявляется в тех случаях, когда более невозможно пола-

гаться на душу как черный ящик, отвечающий за устойчивость перевода движений в действия в экологии субъективности, построенной на культивации характера как ее центре.

Решением проблемы недостаточности души выступает, в частности, «лес» Генри Дэвида Торо, создаваемый как способ восстановления классической экологии субъекта в условиях умножения различных видов транспорта, угрожающих единообразию субъективного опыта. Противоположностью «леса» Торо представляется «лабиринт», рассматриваемый в контексте семинара Ролана Барта как машина антисубъекта. Лабиринт — не просто место потери, но производство потери, которое обращает любое движение в действие или решение, но в то же время обнуляет действия, изымая субъекта из его собственной структуры. Лабиринт и лес как альтернативы классической конструкции субъекта указывают на наличие обобщенного пространства субъективаций, проблемы которого не сводятся к теориям праксиса.

**СУБЪЕКТ** — не один, не единое. Для одного субъекта всегда нужно два, но не обязательно два субъекта, просто два — что-то одно и что-то другое. Категориальные оппозиции начинают со второго шага, усматривая разрыв или противоречие там, где всё начиналось с двух как фигуры сохранения: хранить одно сложно, оно либо не нуждается в хранении, либо не сохраняется, разрушаясь от собственной единичности. Единое трудно сохранить в качестве единого уже потому, что его изоляция от всего остального выдает зависимость, которая его же и уничтожает (отсюда Парменид). Соответственно, субъекта можно рассматривать как случай, вариант такого сопряжения одного с другим, которое следует логике сохранения, то есть логике двух (например, чтобы одно было одним, оно уже должно сторониться другого). Различные оппозиции, которые исторически служили для концептуализации субъекта, от тела/души (Платон) до ситуации/события (Бадью), следует рассматривать в качестве не столько описаний, сколько рационализаций теоретического факта: невозможности сохранить что-то в одном экземпляре и типе, невозможности оставить, к примеру, бытие без множественного, а протяженную вещь без мыслящей.

Попытки выписать те или иные онтологии на основе «одного», будь то бытие, объект или множество, парадоксальным образом требуют дополнения уже с «первого» шага. Другими словами, дополнение предпосылается им как нечто одновременно внешнее и необходимое, скрытое и обязательное (с чего и начинается, в частности, движение деконструкции). Позиция «одного» (например, бытия), дополняясь, может осуществляться как в концептуальной, так и во внеконцептуальной форме — как Иное или просто как дополнительный нарратив. Однако, в противоположность гегелевской диалектике, это движение предваряющего дополнения одного другим я предлагаю понимать здесь не в качестве влечения к дополнению, постепенно пополняющего нашу концептуальную картину, а в качестве элементарного жеста сохранения: дополнение всегда сохраняет, предохраняет, но уже своим наличием ставит сохраняемое и сохранность под вопрос, создает опасность. Если что-то нужно сохранять, значит, оно не столь

уж надежно; соответственно, хранимое и хранящее оказываются в положении одновременно взаимозависимости и взаимной угрозы. Возможно, любые философские оппозиции существуют всегда в ситуации «взаимного сдерживания», «взаимного устрашения» или даже «гарантированного взаимного уничтожения», что, собственно, и показывала деконструкция Деррида: стоит только одному члену оппозиции объявить войну другому, и они неминуемо окажутся на грани взаимного уничтожения или даже в ситуации ядерной зимы постметафизики, в которой все оппозиции обращены в прах. Крайняя форма сохранения, открытая в XX веке и, возможно, неизвестная греческой и новоевропейской философии, — сохранение за счет взаимного уничтожения, балансирующее в ситуации нулевой суммы за счет того, что оба компонента делают вид, что ничего друг о друге не знают.

## Транспорт субъекта

Субъект — одна из форм подобного оппозиционного сохранения. Взаимное уничтожение категорий, открытое Гегелем, сдерживается в субъекте путем выстраивания своего рода процессинга, обработки или, точнее, отображения одних категорий в других. Субъект — это всегда перевод или функция, которая позволяет удержать вместе две переменные сразу, сохраняя и ту и другую (и не так важно, какие именно переменные). Соответственно, абстрактно субъекта можно определить как такое сохранение двух, которое в минимальном варианте переводит одно в другое, соотносит одно с другим, представляет одно в качестве заместителя другого и т. д. В общем виде субъект — это именно что отображение одного в другом, позволяющее работать с одним так, словно бы при этом происходили операции и с другим, которое, однако, вполне может оставаться и вне доступа. Например, душа нужна для того, чтобы тело могло не обращаться к себе напрямую, и именно это позволяет его сохранять.

Здесь я предлагаю рассмотреть субъекта как абстрактный способ соотнесения двух терминов, сохраняемых вместе в ситуации взаимной угрозы, — движения и действия. Преимущество этой концептуальной пары в том, что она, с одной стороны, не так отягощена метафизической традицией, как, например, оппозиция духа и материи или мышления и желания, а с другой — не сводится к оппозициям, которые были позаимствованы из научной картины мира (например, оппозициям ментальных событий и физических). Субъект в таком случае — это определенный, требую-

щий реконструкции способ перевода, проекции и сопряжения движений и действий, способ, ставший проблемой еще у Аристотеля, когда он предложил концепцию движения, тут же соотносимую с этикой<sup>1</sup>. Не является ли элементарным этическим действием — да и, собственно, «действием» вообще — перемещение, ход, шаг, движение, *move*? По крайней мере, без второго не может быть первого: без некоего наблюдаемого (в пределе — физического) движения или изменения — идентифицируемого действия. Для того чтобы было действие, нужно определенное изменение, хотя второе может происходить и без первого, так что в этом зазоре неизбежно возникает напряжение, управляющее проблематикой свободы воли, окказионализма, ответственности и т. д. Внутри минимального различия действия и движения уже встроены различные способы эксплуатировать это различие за счет либо отождествления двух его терминов, либо, напротив, намеренного разведения. Действие может присваивать различные движения, полагая их в качестве следствия выбора, целесообразности, интенционального акта и т. д. Различные версии отрицания «свободы воли» могут, наоборот, усматривать в интенциональном действии не более чем (синтаксическую) машину по переписыванию того, что происходит само собой, в физическом движении, без всякого плана (хотя при этом остается вопрос об инстанции самой этой переписи). Отсюда фикция действия: «это не моя рука, это я». Но также можно указать на принципиальное различие терминов, чтобы действие смогло дистанцироваться от своего дубля-движения: «это не я, это моя рука».

Этику в этом смысле можно понять как программу, с одной стороны, коэволюции, симбиоза двух линий — движения и действия, их подгонки друг под друга; с другой — построения таких экспериментальных условий, в которых даже отсутствие движения не означало бы отсутствие действия. Если в связке действия и движения всегда остается возможность для «патологии» (в кантовских терминах), движения, не полностью присвоенного действию, то в отсутствие движения появляется возможность для выявления собственно действия, хотя и негативного, отсутствующего действия, засчитываемого как «все равно действие». Простейший

1. *Furley D. Self-Movers//Self-motion. From Aristotle to Newton/M. L. Gill, J. G. Lennox (eds). Princeton: Princeton University Press, 1994.* Описание современного состояния дискуссий вокруг проблемы соотношения действий и движений, в том числе в аналитической философии, см. в: *Natali C. Actions et mouvements chez Aristote//Philosophie. 2002. Vol. 2. № 73. P. 12–35.*

пример такого тестирования на наличие чистого действия — юридический концепт «халатности». Рассудочные риторические примеры («пустить или не пустить убийцу к себе в дом, где скрывается его жертва», «помочь или не помочь случайному прохожему», стать ли добрым самаритянином и т. д.) нацелены на воспроизводство тех же условий, в которых возможна такая вещь, как халатность, то есть отсутствие наблюдаемого действия/движения, приравненное к действию. Этика требует построения своего рода продуктивных тупиков, в которых невозможно воздержание, а отсутствие наблюдаемого действия (поскольку в тупике движение уже невозможно) приравнивается к определенному действию, четко классифицируемому и в конечном счете подсудному.

Можно заметить, что эта многовековая система фильтрации действий и их маршрутизации, их удачного скрещивания с хорошо подобранными движениями, сочетающегося с отсеиванием заведомо ложных движений, описи движений как своеобразного тезауруса и каталога возможных действий, — эта система хотя порой и вникала в подробности отдельных движений, но не предполагала, что они могут выступать контрагентом, способным в равной мере присваивать действия или хотя бы сбивать их с толку. Это, конечно, было бы противоречием уже в определении, поскольку целенаправленное действие формально отождествляется с одним членом оппозиции, чем, собственно, уже разыграна стратегическая игра внутри нее. Наделяя движение способностью к действию (например, в латурианской схематике перформанса, заимствованной у Альгирдаса Греймаса<sup>2</sup>), мы всего лишь сдвинули бы проблему на один уровень ниже, понизили бы инстанцию действия до тех «агентов», которые в силу самого этого именованья внезапно повышаются в ранге. Услуга, оказанная тем самым движениям, оказывается двусмысленной — их наделяют другим статусом, который, однако, как не раз отмечает Латур, говорит именно о «симметрии»: микробы или призраки могут действовать точно так же, как Пастер и охотники за привидениями. Строится «активная» онтология, демократизирующая достижения классических теорий действия (в том числе этических и коммуникационных) за счет инклюзивного (либерального в смысле либерализма XIX века) включения все новых и новых агентов в политическое пространство агентности. Демократизация агентов достигает того, что в конечном счете не остается никаких *ложных движений*,

2. Критику см., напр., в: *Bourdieu P. Science of Science and Reflexivity*. L.: Polity Press, 2004. P. 28 ff.

тех, что могли бы сбить систему присвоения движений действием и агентами, их классификации и распределения. За движением сохраняется чисто «денотативный статус» нуль-действия, способного мгновенно дополняться агентностью.

Формальную конъюнкцию действий/движений можно представить в виде матрицы, заранее определенной так, чтобы движение могло выполнять чисто служебную роль реализации или имплементации, то есть минимального, всегда уже предзаданного действия. Если обозначить присутствие и отсутствие движения и действия через «плюс» и «минус», возможны следующие сочетания: +движения, +действия (обычное действие: я поднимаю руку); –движения, +действия (я не поднимаю руку, например на голосовании, тем самым голосую против); –действия, +движения (это не я, это моя рука сама поднимается); –движения, –действия (рука не поднимается, и это не засчитывается за действие).

		Движение	
		+ (есть)	– (нет)
Действие	+ (есть)	++ (я поднимаю руку)	+– (я не поднимаю руку на голосовании)
	– (нет)	–+ (это не я, это моя рука — судорога?)	– – (халатность?)

В каждом из этих вариантов различными теориями действий (или праксиологиями) применялась комбинаторика, позволяющая просчитывать конечное действие по наличию/отсутствию движений. Интересно, что в смешанных вариантах (–действия, +движения и наоборот), то есть халатности либо непроизвольного (скажем, судорожного) движения, ситуация начинает усложняться, как только в действие вводятся посредники, вся роль которых всего лишь в том, чтобы реализовать само движение за счет минимального транспортного обеспечения: если моя рука в гипсе, возможно, ее надо поднимать за счет специального оборудования, пусть даже простейшего рычага, который уже допускает внешнюю эксплуатацию и «взлом». Конечно, это не отменяет работы всей схемы в целом — нужно лишь сделать пересчет и опять же вывести из комбинации терминов итоговое действие, его отсутствие или отсутствие действия как его наличие.

Подобные эмпирические примеры указывают на возможность определения неучтенной в оппозиции движения/действия позиции, а именно позиции *транспорта*, то есть служебного движения или аппарата движения, которое должно быть заранее подчинено пра-

вильно выстроенной карте перемещения. Транспортom можно считать не только то, что позволяет продлевать одно действие в другом (и тогда он оказывается во власти логики действия или этики), например «сказав А, сказать и Б», и не только то, что позволяет транспонировать одно движение в другое (за счет той или иной системы сохранения движения, каковая описывается той или иной физикой), но и то, что доводит то или иное движение до его определения в виде действия внутри самой этой оппозиции. Формально транспорт такого рода представляется инфраструктурой или *копулой*, которая в оппозиции движения и действия обеспечивает то движение, которое позволяет совмещать, соединять определенное движение с действием, то есть это *служебное* движение, которое обеспечивает саму логику сохранения действия/движения. Транспорт — это всегда *дополнительное движение*, нулевой ход, который логически сопровождает и поддерживает всякое движение в оппозиции движения и действия, когда требуется спроецировать множество движений на множество действий или, что то же самое, сопоставить множество действий с заданным резервуаром или списком движений (в каком-то случае разные действия могут пользоваться одними и теми же «физическими» движениями). Другими словами, можно предположить, что, помимо явного или тривиального транспорта, описываемого на каждой стороне оппозиции и составляющей основу для этики или физики, существует еще и третий, скрытый транспорт, незаметный в гладком функционировании оппозиции движения и действия. Действительно, его наличие определяется чисто гипотетически, как концептуальная позиция, заданная тем, что для *совмещения* действия и движения, то есть для того, чтобы определенное действие выполнялось определенным движением, уже требуется дополнительное движение или система движений, которая позволяет подгонять одно под другое, составляя своего рода машину или словарь перевода одного в другое.

Необходимость такой «позиции транспорта» определяется тем, что действия и движения представляются принципиально разными категориями, хотя в интересах и того и другого эту разницу скрыть. Радикальность различия можно выписать, к примеру, как различие аналогового и цифрового, что, в частности, использовалось в психоанализе<sup>3</sup>. Действительно, множество движений

3. См.: *Wilden A. System and Structure: Essays in Communication and Exchange*. L.: Tavistock, 1972. P. 155 ff; а также: *Litowitz B. E. Rejection, Refusal, Denial: Developing Capacities for Negation // On Freud's Negation / S. Akhtar, M. K. O'Neil (eds)*. L.: Karnac Books, 2011.

и каждое движение по отдельности составляют континуум, который может описываться в физических терминах: так, младенец, «отталкивая» неприятный объект, может делать это с разной степенью интенсивности, с разной амплитудой движения и т. п. Сама характеристика такого жеста как жеста именно «отталкивания», а потому и отвращения уже говорит о процедуре дискретизации, позволяющей переводить континуум движения в дискретное множество действий (согласие-несогласие, принятие-отвращение и т. п.). Поскольку не существует заранее заданного способа дискретизации, каждое движение должно доводиться, дотягиваться до определенного действия, которое выступает пунктом его назначения. Это, разумеется, отрицается как со стороны движения (или физики), так и стороны действия (или этики). В первом случае мы получаем тот или иной вариант элиминативизма, предполагающий, что континуальность движения является необходимым и достаточным условием для дискретизации действий. Иначе говоря, нет никакого движения, которое бы не было континуальным, а потому и дискретизация возможна лишь как частный случай, ограничение или же выборка континуума. Такой вариант допускался уже Аристотелем, предполагающим, что континуум действий удачно разбивается продуктивными «делами», поэзисом, выступающим переходным звеном к собственно праксису. Во втором случае мы получаем диктат этики или семантики, которая мгновенно угадывает, какое именно действие имелось в виду тем или иным движением и жестом, а потому не допускает двусмысленностей. Разумеется, онтология вполне может исчерпываться как «этикой», так и «физикой» подобного рода, однако полезно предположить — в качестве чисто формальной возможности — еще и «логику», или же «логический транспорт», как абстрактный механизм перевода одного в другое, как дополнительное, сопровождающее, служебное движение, которое обеспечивает то, что движение доводится до действия, что между ними вообще возникает определенная связь: чтобы движение было действием, необходимо «третье движение» (или, в обратной перспективе, «третье действие»), дополнительное движение, которое, собственно, и называется в данном случае «транспортом».

Такое усложнение указывает на неопределенную роль транспорта как инструмента чистого перемещения, «всего лишь» перемещения: он, с одной стороны, то, что уже вписано в некоторую схематику распределения действий на правах исключительно логической (или логической) компоненты, а с другой — то, что *меньше* минимального элементарного движения, что требует-

ся для того, чтобы последнее осуществилось. Транспорт одновременно и «выше» нуль-действия, то есть движения, которое существует пока еще как чистое алиби действия (поскольку транспорт уже «указывает», куда именно движется движение, обозначает место его прибытия, *sens* в двойном смысле смысла/направления), и «ниже» его, поскольку без его чисто служебной, физической (вернее, инфрафизической) помощи собственно движение не могло бы сдвинуться с места, состояться.

Если принять эту посылку, можно увидеть, почему транспорт всегда вызывал этические вопросы и недоумение, получившие, в частности, воплощение в этических «задачах о вагонетке»<sup>4</sup>. Поступок, который можно оценивать с точки зрения этики, сам представляется в качестве простейшего переноса или перевода — от мотива до действия, от *reason* до *action*, от основания до последствий: различные этические теории разнятся прежде всего тем, как выстроить эту интериорную развязку передвижения от одного к другому, которое не может быть чисто логическим, как ее ограничить и понять, где она кончается. Например, консеквенциализм значительно удлиняет деонтологическую дорожную карту. Но вопрос в том, как отделить эту интериорную карту от обычного транспорта, от того простейшего акцидента, в результате которого водитель перестает быть водителем, наезжая по неосторожности на пешехода. Если на каком-то этапе этика становится руководством по правильной эксплуатации самого себя как транспортного средства, всегда будет сохраняться вопрос о том, где заканчивается этический вопрос и где начинается юридический (или даже физический). Кажется, что чем дальше мы от определенной интериорной карты, на которой можно было ориентироваться по признакам, понятным лишь нам, по «наитию» (когда этический транспорт неизменно делал вид, что он ничуть не быстрее своего полного отсутствия, что, собственно, и можно считать наиболее прямым определением интуитивизма), тем больше мы погружаемся во внешнее, где каждый следующий шаг оформляется инструментами, коммуникациями, транспортами, которые не имеют никакого отношения к нашему «внутреннему

4. Эдмондс Д. Убили бы вы толстяка? Задача о вагонетке. М.: Издательство Института Гайдара, 2016. Юмористический пример из советской классики: «...арбатовцы не представляли себе, как это можно пользоваться автомобилем в трезвом виде, и считали *авто-телегу* Козлевича гнездом разврата, где обязательно нужно вести себя разухабисто, издавать непотребные крики и вообще прожигать жизнь» (*Ильф И., Петров Е. Золотой теленок*. М.: Вагриус, 2000. С. 94).

выводу», интуитивно понятной семантике (или ее исчезающему отсутствию, когда и так всё ясно).

Появление дополнительной инстанции «транспорта» как инфрадвижения или аппарата перевода движения в действие опознается тогда, когда такая инстанция сама проецируется на обе стороны оппозиции движения и действия. Другими словами, помимо физики существует еще и инфраструктура физики, постоянно стираемая, но оттого не менее упорная и устойчивая, — навязчивое обременение физической автономии, в которой всякое движение продлевается в континууме других, не требуя никакого опосредования, никаких толчков извне или понуканий. Физика — это континуум движений без собственного инструментального сопровождения, без сервомеханизмов транспорта. Следовательно, основная синтаксическая фигура<sup>5</sup> транспорта, формулируемая внутри экономики движения и действия (в рамках стирания самой позиции транспорта), — это «и так тоже», «и без этого бы обошлись», «и так тоже можно», то есть транспорт — фигура избыточности. На уровне движения фигура транспорта задает равенство движения ему самому (или континуальность континуума), в каковом задании, однако, сам транспорт неизменно разоблачается в качестве излишества. Фигура «и так тоже можно» выдает двусмысленность транспорта в том отношении, что он, с одной стороны, представляется чистым дополнением, необязательным и даже досадным («ну хорошо, и так тоже можно»), а с другой — упрощает ситуацию, делает ее более комфортной, так что вскоре становится совершенно неясно, как же можно было без него обходиться. Комфорт всегда связан с приятной необязательностью транспорта, и в этом качестве он воспроизводит в себе его двойственность: упрощение и ускорение движения сопровождаются его остановкой и нейтрализацией (пассажир в поезде).

Итак, действия и движения можно представить в качестве координат абстрактного пространства, в котором движения отображаются в действия. Формально не существует одно-однозначного соответствия между движениями и действиями — определенному множеству действий может быть сопоставлено произвольное множество движений. В этом пространстве возможны раз-

5. «Синтаксическая фигура» в смысле Фрейда, определявшего фетишизм через фигуру «и все же», «тем не менее». Фигура фетишизма «и все же» была разработана у Октава Маннони: *Mannoni O. Je sais bien, mais quand-même... // Clefs pour l'imaginaire ou l'autre scène. P.: Seuil, 1969. P. 9–33. См. далее обсуждение этого момента в тексте Барта.*

ные фигуры отображения движений в действия, которые не всегда могут опознаваться в качестве субъекта, патологии, физики и т. д. Но во всех случаях наличествует, по крайней мере формально, позиция «транспорта» как дополнительного или нулевого движения, затребованная тем, что параметры этого пространства неравноценны — это не просто единообразные  $x$  и  $y$ . Движение представляет собой континуум, тогда как действия дискретны (каковая дискретизация выражается, например, в языке). Место субъекта — это место между этикой и физикой, однако оно не совпадает с местом *любого* транспорта или любой функции, соотносящей континуум движений с дискретностью действий. Не всякая игра внутри оппозиции действия и движения или этики и физики создает условия для субъекта. Лишь ограниченное число возможных транспортов являются условиями субъективации. Более того, даже среди возможных субъективаций всегда существовали выделенные, привилегированные. Прояснить это позволяет пример из Генри Дэвида Торо, одного из теоретиков транспортов разного толка.

## Торо: экономия опыта

Железная дорога, основной модернистский транспорт (от XIX века и вплоть до частной теории относительности с ее воображаемыми поездами), преследовала, нагоняла текст Генри Дэвида Торо уже потому, что жилище отшельника в Уолдене находилось рядом с железнодорожным полотном: «Фичбургская железная дорога проходит возле самого пруда, на расстоянии трети мили к югу от моего жилища»<sup>6</sup>. Отшельничество Торо всегда построено на калькуляциях, оно не служит погружению или возвращению в природу<sup>7</sup>. Жилище должно находиться не настолько далеко, что-

6. Торо Г. Д. Уолден, или Жизнь в лесу. М.: Издательство АН СССР, 1962. С. 76.

7. В этом смысле Торо как нельзя более далек от так называемого *nature writing* или же от таких современных проектов анимализации, как, например, «становление бобром» Чарльза Фостера: *Foster C. Being a Beast*. L.: Profiles Books, 2016. Для Торо лес — это не экология, а экономия в буквальном смысле, то есть лес — это просто место, где можно больше всего сэкономить; отсюда бесконечные подсчеты потраченных припасов, муки и т. п. В пересчете на современные условия можно сказать, к примеру, что городской гараж или автокемпер — это *тоже лес*, который в своей лесистости превосходит квартиру (поскольку в нем коммунальные услуги дешевле или их меньше), но уступает лесу Торо, брезентовая палатка — лес в еще большей степени, чем кемпер, и т. д.

бы об удаленности нельзя было сообщить. Чем больше расстояние, на которое ты удалился, тем сложнее будет о нем сообщить, так что Торо стремится к комфортному удалению, которое в итоге становится знаком самого себя (известно, что Торо мог довольно легко прийти из Уолдена до дома — отшельничество больше напоминало кемпинг в городском парке). Он не пустынный, которого бы хранила ширящаяся пустыня, скорее тот, кто оставляет за собой право разорвать коммуникацию или наблюдать ее в движении. Интерес Торо не в интуитивистском опрощении, хотя так и может показаться, а в самом определении интуитивизма: в пространстве этики дорожные работы и транспортировка не должны отклоняться от того курса, который *и так* был бы возможен. Более того, наибо́льший путь — тот, который стремится к определенной константе, подсчитываемой экономически:

Я сказал своему приятелю: посмотрим, кто доберется туда [во Фичбург] раньше. Расстояние — тридцать миль; проезд стоит девяносто центов. Это почти равно дневному заработку. Я помню, когда на этой самой дороге рабочим платили шестьдесят центов в день. Итак, я выхожу пешком и к вечеру буду уже на месте; мне приходилось ходить по стольку и целыми неделями подряд. А тебе надо сперва заработать на проезд, и ты будешь там завтра или, может быть, к ночи, если посчастливится вовремя найти работу<sup>8</sup>.

Далее указывается, что даже в глобальной системе коммуникации Торо все равно обогнал бы своего более «современного» конкурента, особенно в том, «что касается знакомства со страной и всякого рода опыта». Чтобы «жить в лесу» — или пользоваться только интерьерным транспортом опыта, — приходится решать странные математические задачи: сколько центов в милях, сколько миль в знакомстве со страной, сколько метров от одного опыта до другого? Можно предположить, что всевозможные «золотые правила» означали прежде всего аксиому в стиле Торо: никакая модернизация, никакая железная дорога и никакая совокупная экономика не могут превзойти то, что можно сделать самостоятельно, «*и так*». Золотое правило не сообщает нам ничего нового, оно лишь указывает на определенный предел или нулевую сумму, *breakeven point*, доказательством наличия которой как раз и занимается Торо, выступая — на манер современных экономистов и экологов — за то, чтобы учитывать все экстерналии, все

8. Торо Г. Д. Указ. соч. С. 36.

эффекты, все упущенные прибыли и возможности, а не только поверхностные эффекты ускорения. Чтобы проехать тридцать миль, нужно проработать целый день, но именно за этот день можно было дойти до пункта назначения, выиграв какое-то время (не говоря уже об опыте). «Лес» — это название диспозиции, в которой можно усмотреть этот всеобщий экономический/онтологический закон, показывающий наличие порога. Выше этого порога невозможно подняться именно потому, что он и так уже является пределом аутентичного. Торо сравнивает «железную дорогу», по которой можно доехать куда угодно, с проектом «нивелирования» всей поверхности планеты:

... действительно — на вокзале собирается толпа и кондуктор выкрикивает: «Просьба занять места!»; но когда рассеется дым и осядет пар, окажется, что поехали лишь немногие, а остальных *переехало*, и это будет названо «несчастливым случаем», достойным всяческого сожаления. Те, кто заработает на проезд, конечно, смогут поехать, если доживут, но, скорее всего, они к тому времени отяжелеют, и им уже никуда не захочется ехать<sup>9</sup>.

Нереалистический образ многочисленных жертв, оставшихся на перроне (в результате *слишком быстро* тронувшегося поезда? затянувшего под себя тех, кто на него не сел?), — еще один элемент в калькуляции, демонстрирующей пороговую величину, выше которой коммуникация подняться не в состоянии. Указание на эту величину, однако, лишает Торо аргументативного преимущества: в самом деле, если надо считать все убытки и прибыли, почему надо предпочитать пеший поход железнодорожному путешествию? Если выше порога нам не подняться, с какой стати бояться «нивелирования»? Тезис Торо в том, что нулевая сумма может парадоксальным образом понизиться — именно за счет ее *внешнего* повышения, прироста в скорости, удобстве и т. п.

Порог существует в двух состояниях. В одном случае он представляет собой базовый ориентир интериорного движения в «лесу», так что он сохраняется именно потому, что этот ориентир не ставится под вопрос и не совершенствуется. В другом состоянии он оказывается всего лишь одним значением из многих на континууме, то есть — декларативно — теряет свое пороговое значение, превращается в одну величину наряду с остальными<sup>10</sup>,

9. Там же. Курсив мой. — Д. К.

10. На аналогичную проблему указывает Малкольм Булл в своей интерпретации хайдеггеровских концептов скудомирия и нигилизма (Булл М. Анти-

но, как стремится доказать Торо своими расчетами, это все-таки не так, поскольку он восстанавливается благодаря сложным уравнениям, в которых поэтический опыт может сопоставляться с милями, а те — с центами (в одном примере Торо сравнивает попытку воспользоваться железной дорогой с поведением предпринимателя, желающего заработать денег, чтобы позже вести свободную жизнь поэта).

Подобные расчеты тяготеют к «синтаксической фигуре» аутентичности, уточняющей указанную фигуру транспорта. Аутентичность (в данном случае точка верной, внеэкономической или уникально-экономической субъективации «леса») — это фигура «и так», разбиваемая на две: «и так уже» и «и так тоже», то есть на два вектора стремления к пределу, сверху и снизу, со стороны убытка и дохода, причем сам предел (точка аутентичности) из такого исчисления должен изыматься. Транспорт, определяемый подобной двойной фигурой, и есть то, что задает аутентичность, экспонируя и тем самым ставя ее, однако, под вопрос. Она допускает разные способы собственного вывода, в том числе и весьма остроумные. Например, Торо против новых методов коммуникации не потому, что они мешают оседлости, а потому, что они скорее пользуются той же содержательной экономией, что поставляют ресурсы и для любого смысла, любого значимого сообщения:

Мы стремимся прорыть туннель под Атлантическим океаном и на несколько недель сократить путь от Старого Света к Новому; но первой вестью, которая достигнет жадного слуха Америки, может оказаться весть о коклюше принцессы Аделаиды<sup>11</sup>.

Различая систему коммуникации и само сообщение, Торо предполагает, что они могут участвовать на общих правах в калькуляции пороговой величины — или в выведении синтаксической фигуры «и так уже», — подобно милям и поэтическим впечатлениям. Само проведение различия медиума и сообщения, получается, уже означает неуверенность, суету вблизи пороговой величины, так что инвестиции в медиум неизбежно оборачиваются ничтожностью сообщений, и это можно объяснить ростом пропускной способности, позволяющей донести до Нового Све-

Ницше. М.: Издательский дом «Дело», 2016. С. 155–157): само наличие континуума, в данном случае заданного пересчетами Торо, подрывает статус уникального порога, выше или ниже которого нельзя подняться или опуститься.

11. Торо Г. Д. Указ. соч. С. 35–36.

та каждый чих Старого. Нам надо было провести это различие для того, чтобы изменить скорость и структуру коммуникации, но, как подразумевается консервативной формулировкой «и так уже», различие не настолько фундаментально, чтобы его составляющие нельзя было подсчитывать в общем онтико-экономическом исчислении. Инвестиции в средства связи резко понижают содержательность сообщений, и наоборот, полное небрежение этими средствами должно в пределе восстановить трудную экологию сообщаемости исключительно важного. Простые или дорогие средства связи (лошади, люди и т. п.) выступают в качестве своеобразного фильтра, который некогда мог отделять важные сообщения от неважных; следовательно, важные — это просто те, что смогли просочиться через толщу медлительных средств коммуникации, отфильтроваться, подобно родниковой воде в лесу у кемпинга Торо.

Фигуры определения аутентичности через транспорт — «и так уже» и «и так тоже» — существуют в качестве следствий друг друга, получаемых за счет специфических правил вывода. «И так уже» выводится как остаток, к которому приравнивается «и так тоже», то есть как порог, существовавший лишь до того момента, пока к нему не нужно было приравнивать(ся). Нечто, что можно сделать «и так тоже», говорит о том, что уже и так сделано, что, следовательно, не требует повторения или дополнения, но в то же время «и так уже» оно может быть именно потому, что уже воспроизведено иначе, инаковость чего полностью отождествлена с тем, что и так уже. «И так тоже» выводится, соответственно, из «и так уже» за счет отождествления и одновременного усовершенствования того, что и так уже, которое, однако, нисколько ему не вредит и его не меняет. В то же время «и так тоже» что-то может делаться лишь тогда, когда «и так уже» не полностью доступно, когда одно отменяет другое: «и так уже» оттеняет досадность того, что «и так тоже», тогда как «и так тоже» подчеркивает некомфортность того, что и так уже.

Как уже было указано, позиция транспорта сама стирается, исключается в игре действия и движения, в столкновении этики и физики. Это можно понять в качестве устойчивой «аутентификации», которая, однако, выходит на поверхность в тот момент, когда транспорт показывает себя в качестве чего-то не-единственного и не-уникального, как у Торо. Соответственно, субъект — такое отображение движений в действие, которое возникает в окрестности аутентичного инструмента, то есть в данном случае такого транспорта, само наличие которого обычно отрица-

ется, а если и опознается, то лишь в качестве уступки, указывающей на то, что он существует только в том качестве, в каком это ничего не меняет. Аутентичный транспорт субъекта говорит о наличии достаточно узкого пространства экологии субъекта, совпадающего лишь с определенным подмножеством на пространстве соотношения действий и движений. Торо не занимается анализом самого аутентичного транспорта (мы, собственно, не знаем, как именно движения переводятся в действия, как физика взаимодействует с этикой), но ему это и не нужно: достаточно зафиксировать саму позицию аутентификации, которая опознается по своего рода равнозначности, неизменности, константности стремления к пределу с двух разных сторон.

Представим тогда, что субъект (или лес) — то, что совпадает с линией своего рода «эквимощности»: какие бы движения ни совершались, они неизменно складываются в определенную фигуру действий, выйти за пределы которых невозможно. Действительно, абстрактно можно предположить наличие своего рода асимптот в указанном пространстве движений и действий: в одном случае множество действий никак не меняют движений, в которых они выполняются (эквивалентность); в другом, наоборот, разброс движений сходится к определенному действию или, говоря точнее, к списку действий, к определенной семантике опыта, которая образует субъекта как устойчивую точку такого пространства. Субъект — получатель базового экзистенциального дохода, а именно опыта как каталога действий, который невозможно существенно изменить какими бы то ни было «лишними движениями». Торо доказывает излишество дополнительных движений или вариаций такого рода, которые якобы могут изменить качество субъективного дохода как такового. Фантастические подсчеты указывают на механизм настолько гладкий, что он *просто не может существовать*, поскольку само его существование ставит под вопрос его уникальность и исключительность, то есть аутентичный транспорт создает эффект ситуации, в которой его нет, и только этим обосновывает свою работу. Он поддерживает такую линию эквимощности, которую невозможно поколебать или сдвинуть; она выглядит бесшовным соединением физики и этики, на котором только и может существовать субъект, чья задача — двигаться по линии этого невидимого шва. Однако отклонение возможно, более того, существуют не только способы разрушения субъекта (за счет выхода за пределы действия аутентичного транспорта, оптимума субъективации, обнаруживаемого Торо), но и способы построения специфических антисубъек-

тов, экологических ниш зависания, стопорения субъекта, обнаружения и демонтажа его аутентичных инструментов.

## Лабиринт как устройство антисубъекта

В семинаре 1978–1979 годов «Метафора лабиринта» Ролан Барт выделяет, цитируя Марселя Бриона, «структурную» функцию лабиринта:

Лабиринт отличается... сочетанием тупиков, которые не дают никакого выхода, и разветвлений, на которых путешественник должен постоянно выбирать свой путь из многих вариантов.

И тут же уточняет:

... с одной стороны, пути, которые не оставляют ответственности выбора (стена в конце), с другой — перекрестки, которые гарантируют нашу свободу: препятствие будет создано нашим собственным выбором, а не судьбой<sup>12</sup>.

Лабиринт является выполнением базового противоречия, о котором говорил и Торо: дорога как минимальный транспорт уже гарантирует своего рода потерю, но только в лабиринте такая потеря выполнена в натуральную величину, ее не нужно подсчитывать в тотальной калькуляции медиа и сообщений. Особенность лабиринта в том, что внутри самого себя он стирает некоторые базовые различия, традиционно разграничивающие любую логику конечного действия: например, он может быть и природным, и рукотворным, но так, что в какой-то момент, на каком-то повороте, его рукотворность перестает считываться. Лабиринт — это не просто та дорога, которая заводит в тупик (хотя он и заводит), а та, что приостанавливает само свое действие, не переставая, однако, быть дорогой. «Дорога» (в том числе *Bahnung* Фрейда) как «след»<sup>13</sup> является минимальным условием, минимальной разметкой, которая позволяет отличить некоторое движение от его отсутствия, направление от отсутствия направления, ориентацию от дезориентации. Если заблудился в лесу, на самом деле неважно, какую именно дорогу искать: главное — найти хоть какую-нибудь. В этой ситуации сгодится любая дорога, поскольку ты лишаешься

12. Barthes R. La Préparation du roman, I et II. P.: Seuil, 2003. P. 169.

13. Деррида Ж. Фрейд и сцена письма // Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000. С. 323 слл.

элементарной разметки, не собственно «ориентации», а возможности ориентации (и здесь это трансцендентальное различие как никогда явственно: найдя дорогу, ты не в состоянии узнать, куда она ведет и нужно ли по ней идти). Даже «лесные тропы» выполняют ту же функцию, сводят ее к необходимому минимуму: дорога — это минимальный транспорт, который задается тем, что по любой дороге идти быстрее, чем по ее отсутствию. Более того, только на дороге движение становится собственно движением, поскольку оно оказывается повторением (дорога — всего лишь след того, что движение уже состоялось, что тут уже кто-то прошел, так что и тебе стоит). Хайдеггеровская «тропа» и «след» Деррида возвращаются к трансцендентальному определению дороги, к его минимуму, который все же гарантирует определенную разметку, хотя и в двух «разных» направлениях: тропа говорит об отсутствии глобального направления (возможно, эта тропа — уже лабиринт, поскольку она заводит чужаков-туристов в неприятные места, где их подстерегают опасности). Она является тем минимальным дорожным покрытием, которое словно бы не требует никакого предварительного «прокладывания»: уверенный в себе местный житель сам торит путь, выбирая «тропу», которая предопределена и предначертана. Тогда как «след» указывает на самого себя и ограничивается этим указанием на себя как повтор, который существует с самого начала: даже первопроходец на самом деле повторяет чей-то шаг. И в том и в другом случае путь, однако, *не сделан* так, чтобы потеряться, чтобы по нему было невозможно идти, но невозможно и не идти.

Особенность лабиринта в том, что он «сделан» в качестве антимеханизма, устройства саморазрушения базовой структуры дороги/пути/следа, хотя, разумеется, миф о Тесее предполагает возможность обыграть эту антиструктуру, восстановить ее структурные качества за счет «нити» — и в этом смысле это миф не о расставании с природой, а об уничтожении антитехники, которая, уже будучи техникой, не предполагала, однако, базовой коннективности, необходимой для любого современного технического объекта, включая и минимальную «дорогу». Лабиринт возвращает каждого к условиям «первого раза», к самой возможности проложить путь, поскольку на каждом повороте предлагается развилка, представляющаяся образом ответственности. Это элементарный выбор, очищенный от любой возможности обойти его или переформулировать: лабиринт отличается не только тем, что из него нет выхода, но и тем, что третьего в нем не дано. Даже если эмпирически попавшему в лабиринт предлагается

на каком-то повороте несколько вариантов, их множество сводимо к ситуации «туда или сюда», «или — или», то есть для лабиринта достаточно на каждом шаге предлагать «развилку», «бифуркацию», так что лабиринт по необходимости бинарен. Это логика действия, как она введена ранее, выполненная в архитектурном или природном сооружении. Бинарность гарантирует элементарность выбора (не выбрать, собственно, нельзя) и невозможность переопределить термины выбора или попросту найти «третий вариант». В лабиринте не может быть «плана Б» (вернее, каждый такой план уже встроен в развилку «А или Б», а потому не является «запасным планом» или планом эвакуации из лабиринта). Бинарность или дигитальность лабиринта представляется контр-примером к эволюции цифровых машин, в которой логика рассуждений была имплементирована в физических или электронных структурах движений. Не является ли машина Тьюринга всего лишь лабиринтом, по которому Тесей смог пройти, установив неслучайность поворотов и логических переключений? В лабиринте уже есть все условия для дигитализации, однако она не позволяет ни одному рассуждению, ни одной программе состояться, породить что-то помимо ошибки. Лабиринт работает по принципу *garbage in — garbage out* с тем уточнением, что он нивелирует различие мусора и не-мусора: все попавшее на вход тут же становится цифровым мусором, вечно блуждающим по закоулкам логических шлюзов.

Сочетание тупиковости с обязательным выбором — лишь один из моментов смешения в лабиринте спроектированности или сделанности как формы дискретизации действий и потерянности, аннулирования действительности действий. «Выбор» в лабиринте легко отождествить с экзистенциальным выбором, от которого не отвертеться: даже отказавшись выбирать, мы все равно выбираем, но в лабиринте этот выбор совмещается с независимостью от выбора. Последний невозможно присвоить в качестве отправного пункта, смысла или даже ошибки. Лабиринт на уровне его пользователя представляется «независимостью от пути», *track independency*, совмещающейся с обязательной ответственностью и свободой (в пределах, разумеется, двоичного выбора). Здесь можно обладать ответственностью, совершать осмысленные действия, но без последствий за свои действия и решения. Это безнаказанность, которая никого не радует. Возможно, что лабиринт — всего лишь доисторическая виртуализация, позволявшая в античности делать то, что сегодня доступно в компьютерных играх: совершать действия, но не нести за это «реальной» ответ-

ственности. Конечно, античная виртуализация лабиринта достигает такого результата лишь за счет радикального обеднения любых результатов, предельного консеквенциалистского уплощения: что бы ты ни делал, результат будет один и тот же (вернее, будет отсутствие результата). Хотя греческий миф повествует о продуктивном выходе из лабиринта к его центру, возможно, функция лабиринта именно в том, чтобы отделить ответственность от последствий, и в таком качестве это как нельзя более кантовский механизм. Возможно, представители минойской цивилизации использовали лабиринт для этого элементарного трансцендентального различения: базовая инициация заключается не в том, чтобы научиться принимать ответственность за свои поступки, но, скорее, в том, чтобы понимать, что ответственность есть даже в том случае, когда никакой поступок невозможен, а его результат заведомо аннулирован. Таким образом, первые лабиринты можно представлять не в качестве случайных природных структур (лабиринты пещер или шахт, о которых упоминает и Барт, указывая на всевозможные, довольно искусственные, классификации лабиринтов), а как тренажер, в котором возможно получить свободу и ответственность, не производя последствий, реализованных в социальной жизни. В таком случае лабиринт был скорее машиной на холостом ходу, способом сделать определенные движения фиктивными, не лишая их важных качеств, то есть машиной идеации. А раз так, «собственно лабиринт» — в каком-то смысле выражение этой идеальной машины.

Сравнивая лабиринт с фетишизмом (с его фигурой, «да, но», «я знаю, но все же»), Барт указывает, что синтаксической фигурой лабиринта могло бы быть «так, что», «настолько, что» (*tellement que*):

...настолько хорошо прочерчен, что в нем уже не найдешь, настолько хорошо сделан, отшлифован, что в нем приходишь к провалу = фигура интенсивности и последующего падения<sup>14</sup>.

Лабиринт в такой формулировке оказывается инструментом разрыва связи и потери, тщательность проработки обеспечивает потерянность внутри него, а не наоборот, возможность всегда вернуться по своим следам. Другими словами, лабиринт *производит* потерю, которая в противном случае оставалась бы просто эмпирическим фактом, всегда преодолимым: принципиальная разница

14. Barthes R. Op. cit. P. 170.

между потерей в лесу и в лабиринте состоит в том, что в первом случае потеря не организована, означая всего лишь отсутствие какой бы то ни было разметки, тогда как лабиринт организован так, что в нем нельзя не потеряться. Таким образом, потеря существует дважды: как простой эмпирический факт, отправной момент, с которым можно справиться, и как обязательный продукт, следствие, порождаемое лабиринтом как цифровой/пространственной машиной. Из каждой цепочки умозаключений, то есть выбора на развилках, лабиринт с железной необходимостью выводит одно следствие — потерю, невозможность проследить какое-либо направление, проецируемую на того, кто, собственно, занимается такими поисками. Лабиринт — фигура интенсивности в том смысле, что потеря не отдается в нем на откуп акцидентальным — в метафизическом смысле — причинам, то есть тем, что заведомо вынесены за пределы мысли как нечто привходящее, не способное что бы то ни было объяснить, обладать определенной консистентностью. Лабиринт в интенсивном режиме *производит* неинтенсивное, поэтому его первоначальное состояние всегда представляется в качестве инициации и/или развлечения. Отсюда парковые лабиринты, заросли в форме лабиринтов: потеря как минимальное развлечение, невозможность «найтись» указывают на удовольствие от кратковременной утраты локации или самолокации. Минимальная утрата позиционирования означает, что, хотя в каждый момент движущийся «где-то» находится, это место само по себе не может определяться в качестве того, с чем соотносится это движущееся тело. При движении в лабиринте место сохраняется, но нет места для места. Иначе говоря, перестает работать минимальный транспорт соединения движений и действий, оставляя Тесея наедине с его приватным, но бесполезным местом.

Вопрос, однако, не в рефлексивности этого *нахождения-себя*. Лабиринт не только порождает иллюзию восприятия, благодаря которой попавший в него не способен понять, где он находится и находится ли вообще; важнее то, что такая потеря ориентации дана именно в предельно строгой ориентации, в выборе «или — или», в совмещении дезориентированности и необходимости в каждый момент ориентироваться. То есть лабиринт одновременно строго ориентирует и лишает возможности найти себя, что создает эффект отчуждения места. Место — с его античных интерпретаций до феноменологических и деконструктивистских — оставалось тем, что минимально присвоено направленным движением, размечено им хотя бы в качестве «дикого Запада» или пустыни. Элементарная топология всегда являет-

сы годологией. Даже в том случае, когда место движения отодвигается на второй план, а на первый выступает место покоя, последнее оказывается своего рода «контейнером» (аналогичным трансцендентальной контейнеризации всегда уже действующими «условиями опыта» и т. п.), защищающим возможность для вещи «найти себя». Каждая вещь, которая должна быть на своем месте, получает свое начало координат, которое, однако, не внутри нее, не в воображаемом центре, а снаружи, как минимальная оболочка, упаковка, отмечающая, что вещь существует не в «голом виде», что она не голая данность, а данность, которая обретается, находится в своем собственном месте, оказывающемся элементарной формой ее позиционирования. Лабиринт подрывает такую форму места: это не нуль-место (неосвоенные или чуждые просторы) и не обычное размеченное, занятое место, это скорее *минус-место*, в котором локальное, эмпирическое нахождение сочетается с глобальной потерей ориентации. Другими словами, в лабиринте как древнем, античном аппарате искажается стандартная новоевропейская система «геолокации», в которой случайность и запутанность локальной ориентации всегда компенсируются гарантией глобальной разметки.

Лабиринт, теряя в себе потерявшегося — в конечном счете если только он действительно лишен центра, — теряет субъекта в интензивном смысле, то есть доказывает ему недостаточность его собственного выбора, который субъект все еще в силах произвести. Субъект решает, но не решает, двигается, но не двигается, он более не способен опереться ни на одну из сторон оппозиции, в которой заключен, не говоря уже о том, чтобы вывести себя как продуктивную функцию в зазоре между терминами этой оппозиции, движениями и действиями.

## Диаграммы субъекта

И мысленные эксперименты Торо, и вполне реальный лабиринт можно понимать в качестве таких конструкций, артефактов, которые меняют, нарушают или же, наоборот, оптимизируют распределения в общем пространстве движений и действий. Однако это не то же самое, что зондаж этических предпосылок, неявного знания или предрассудков субъекта, которым занимается аналитическая философия (в том числе в варианте «задачи о вагонетке»). Само пространство соотнесения движения и действий указывает на то, что некоторые натуральные способы их отображения друг в друга уже не работают, а потому и «лес» Торо, и лабиринт — спо-

собы работать с более широкой логикой (логикой транспортов, находящейся между этикой действий и физикой движений), в которой формально допустимы и те варианты, которые не дают оптимального субъекта (что выражается метафорой Торо о многочисленных жертвах, оставшихся на железнодорожном перроне).

Действительно, оппозиция действия и движения представляется абстрактным и обедненным случаем традиционной конструкции «агента», представленной еще у Аристотеля. Однако именно такое обеднение позволяет представить подход самого Аристотеля и наследующей ему философии в качестве частного случая, лишь одной из диаграмм (или отображений движений в действия) из множества возможных — как «субъективирующих», так и не субъективирующих. Канонический вопрос о различии действий и движений, в частности в том его виде, в каком он формулировался в аналитической философии и в различных континентальных вариантах философии действия, систематически смещается к обсуждению различия разных типов *действия самого агента*, что позволяет обходить инстанцию движения стороной, предполагая вопрос уже решенным. Соответственно, этическая и практическая «диаграмма субъекта» у Аристотеля, послужившая основой как для этических теорий, так и для докартезианских философских психологий, выступает в качестве своего рода «черного ящика», устойчивой конструкции, которая предполагает устройство «души» в качестве надежного инструмента отсечения действий от движений, или, что то же самое, автономизации агента в пространстве абстрактных (не-субъективирующих) движений.

Как указывает в вышеупомянутой классической статье Дэвид Ферлей<sup>15</sup>, Аристотель в этических работах должен выделить особое «подмножество» животных движений, а именно действий, за которые можно нести ответственность. Семантически различие между «действиями» и «движениями» может быть проведено как различие «движений агента» и «движений в агенте». Однако даже конструкция души как таковой (то есть когнитивного аппарата восприятия-желания-фантазии) не гарантирует наличия точки отсечки, различия между движениями и действиями, поскольку внешнее бытие объекта желания (*orekton*) говорит о том, что агент остается неавтономным, а раз так, не вполне ясно, в чем принципиальное различие между, скажем, агентом, которого влечет вкусная еда, и бессознательными, животными движениями,

15. Furley D. Op. cit. P. 10.

порождаемыми в спящем агенте той же самой едой, но уже после ее поглощения. Сохраняемая в любом действии ссылка на внешние обстоятельства способна привести к безответственности, поддерживаемой своего рода моральной избирательностью: хорошие поступки агент может объяснять своим характером, тогда как плохие — влиянием обстоятельств или же искушениями. Выйти из этого затруднения можно за счет универсализации инстанции характера: какие бы движения ни затрагивали душу, в конечном счете только она (сформированный и формирующийся под своим собственным воздействием характер) отвечает за то, как такие движения отображаются в действия. Другими словами, душа — это минимальный фильтр, минимум отличия действий от движений, определяемый тем, что движение само может автономизироваться, одновременно сохранив природную детерминацию и срезав ее, купировав.

На концептуальном уровне, образуемом введением инстанции «души», отсека действия от движений достигается за счет того, что само пространство различий *внутри* действий (с ведущей парой *praxis/poesis*) функционирует только при решенности указанной проблемы отделения действия от движений, то есть в горизонте уже введенного агента, которого не было нужды называть субъектом именно потому, что его естественное устройство, реализованное в виде его способностей, выступало минимальным аппаратом отрыва и отсечки действия от движения. Соответственно, на этом уровне (уровне традиционной метафизической теории действия и одновременно этики) решается вопрос специфического отличия *человеческих* действий в их высшей форме праксиса — деятельности, которая, в отличие от поэзиса, не нуждается во внешней цели, а потому может выполняться актуально, не требуя «продуктивного» завершения (в числе таких действий — «счастливая жизнь», «подвиг», «веридикция» и т. д.). Хотя обычно интерес (вплоть до Ханны Арент и других теоретиков XX века) сосредоточивается на загадочной фигуре непроеизводительного, но именно поэтому собственно человеческого действия, стоит обратить внимание на то, что зона «производительного действия» сама выступает своего рода промежуточным термином, призванным опосредовать отношения действия и движения, а именно тем концептуальным «транспортом» внутри оппозиции, о котором речь шла выше. Действительно, производительные действия, то есть «дела», — это не что иное, как движения, увиденные со стороны агента, которые артикулируются в виде ограниченных отрезков, позволяющих, например, соединять природные «про-

дуктивные» движения с истинно производительными действиями человека. Например, «дом» можно построить в скале или расщелине, если она *уже образована* природными силами, которые, таким образом, вписываются в общий план строительства дома, каковой, как подчеркивает Карло Натали<sup>16</sup>, складывается из дискретных продуктивных действий и полностью ими исчерпывается, в отличие от *praxis*'а. Натали полагает, что *poesis* относится к отдельным делам-движениям по принципу «части и целого», тогда как *praxis* относится к отдельным действиям, его составляющим, по принципу «формы и материи». Здесь, однако, важнее подчеркнуть не столько конкретное решение самого Аристотеля или его интерпретаторов, сколько нагруженность самой интерпретации движения как «производства», предполагающей своего рода телеологию природы.

Производство, «делание» одного из другого, несомненно, движение, однако это, опять же, одно движение из многих, подмножество движений, предполагающее собственную качественную дискретизацию, удачно соответствующую дискретизации действий или праксиса. Природа, таким образом, предлагает человеку не только множество удачных находок, результатов собственной изобретательности и случайного стечения обстоятельств (острые камни, пещеры, ветки, используемые для ограждения и т. п.), но и нечто большее — само *деление* движений на дискретные продукты, полезное для переноса самой этой концептуальной формы на сферу деятельности как таковую, а по сути и для ее учреждения. Производство, как нечто подчиненное и вторичное по отношению к действию и деянию, оказывается, однако, онтологической хитростью, позволяющей конвертировать мир движений в мир действий, создавая в том числе и материю для высших форм праксиса (этических и политических).

Как было отмечено выше, генерализация самого термина «действие» в контексте акторно-сетевой теории означает *деволюцию*, делегирование действия, преследующее либеральные цели: сами критерии действия понижаются, спускаются на несколько уровней ниже, что в то же время позволяет поднять статус движений, повышающихся в ранге. Разумеется, это не просто семантический переворот, поскольку, отрицая привилегию действия (отныне доступного каждому), он снова — вслед за аристотелевской этической и политической традициями — снимает проблему диаграмматизации субъекта, то есть умножения способов соотнесе-

16. *Natali C. Op. cit. P. 33–35.*

ния движений и действий. Сам фон движений, на котором выделялось подмножество или фигура действий, исчезает, будучи выведенным на первый план. Для того чтобы быть агентом, уже не нужно иметь «души» — особого аутентичного инструмента, позволяющего отсекаать действие от движения или переводить второе в первое: «агент» представляется не столько таким фильтром, сколько номинальным источником движения и одновременно действия, так что вопрос о проблематичности «самодвижения», характерный для аристотелевской схемы, не может быть даже поставлен. Деволуция действия устраняет метафизические проблемы автономии, начала движения и т. п., но в то же время отказывается от позитивной экологии субъекта, разрабатываемой в XIX веке такими авторами, как Торо или Ницше. Агент в таком случае оказывается слишком бедным субъектом — в том смысле, что последний лишается даже минимального экзистенциального дохода.

Пример Торо и лабиринта показывает разные выходы в пространство диаграмматизации субъекта, который уже не может довольствоваться наличием у человека как природного существа души. В данном контексте не так важно, что именно стало причиной «недостаточности души» — общий кризис метафизики или, как полагает Торо, индустриализация и ускорение. «Лес» — это и есть душа в новых условиях промышленного Запада, однако Торо показывает, что лес сам конструируется в длинной цепочке подсчетов и пересчетов как особая система уравнений, решением которых является фигура эквимоционности, то есть такого опыта, который, заменяя естественное устройство души, удостоверяет то, что, какие бы движения мы ни совершали, действенный результат будет одним и тем же. Лес Торо, в котором он живет, состоит из таких подсчетов и «уравнений», которые приходят на место души как метафизического черного ящика. Конечно, аутентичность подсчетов потребовала бы отсутствия собственно «калькуляции», существования леса как полного аналога незаметно действующей души, однако такая ситуация уже недоступна: лес стремится к такой экологии, в которой ее обсчет незаметен, а результат стирает собой все предшествующие ему выкладки.

Тогда как лабиринт как машина потери задает позицию не субъекта, а антисубъекта, а именно линию эквиакционности, которая сохраняет от субъекта лишь место пустой ответственности: лабиринт оставляет агенту его ответственность (соответственно, старая проблема этической избирательности решена), однако эта ответственность лишается всякой видимости действий, которые

одновременно и движения, и дискретные составляющие, не складывающиеся в целое, — лабиринт ничего не производит и в то же время не составляет «форму» праксиса, если не считать увеселения. В мифическом лабиринте эта чистая, отделенная от всякой материи ответственность в итоге получает вознаграждение — чудовище в центре лабиринта, но «реальные», искусственные или естественные, лабиринты говорят о том, что потеря выполняется как полное отождествление движений с действиями (в идеале в лабиринте нельзя делать движения, которые не были бы действиями, то есть движениями, нацеленными на выход из лабиринта), но эти действия, в свою очередь, превращаются обратно во всего лишь движения, в то, что никогда не дотягивает до какого-либо действия (практического или поэтического). Субъект, таким образом, оказывается в центре ускорившегося оборота, цикла действий и движений, в котором он уже не может занимать положение одностороннего шлюза, контролирующего направление конвертации одного в другого. Это, в свою очередь, создает эффект отделения, отстранения плана действий от того, кто оказался в лабиринте: дискретность действий может быть сохранена, но для потерявшегося она становится непостижимой, возможно, потому, что она составляет какой-то иной сюжет (например, движение по лабиринту может быть информативным для экспериментатора, наблюдающего его извне).

Лес и лабиринт — две альтернативы в пространстве движений и действий, каждая из которых составляет контрапункт к классической конструкции души, заданной в качестве бесперебойного и безошибочного инструмента отделения действий от движений и в конечном счете маршрутизации действий в той или иной этической теории. Калькуляции Торо вместе с родственными ей современными теориями в русле утилитаризма, освободившегося, правда, от принципа эквимоционности Торо (или принципа минимального экзистенциального дохода), сами по себе показывают, что душа уже была своеобразным «лесом в миниатюре», маркером экологии поступков и действий, которая в метафизике принималась за данность. Движения, производимые в агенте в силу его включенности в естественную среду, устойчивым образом отделялись от движений, то есть действий самого субъекта, прежде всего за счет промежуточного термина — производства и поэзиса. Лес Торо выводит эту экологию души в явном виде, представляет ее в качестве постоянно действующей сцены, противостоящей лабиринту, но в то же время отличающейся от классической оснастки агента, данной его когнитивно-волевым аппаратом.

Лес — воссоздание души в той ситуации, в которой испытывается ее недостаточность. Два этих варианта показывают ненадежность души, невозможность полагаться на нее как центр экологической среды, в которой агент отвечает за свои поступки именно потому, что может неизменно возвращаться к самому себе в практической и теоретической рефлексии, возвращая свой характер. Лабиринт, заимствующий у трансцендентальных моделей фигуру чистой ответственности, сталкивает субъекта с множественностью сюжетов и планов действий, для него невидимых, — с обобщенной хитростью разума, которая для заблудившегося в лабиринте недоступна. Укрыться от лабиринта в лесу возможно, но лес сам расходится цепочкой утилитаристских тропок. Известные нам возможности — душа и лес, лабиринт и обобщенный либерализм агентов — наверняка не исчерпывают всего множества субъективаций в зазоре между движениями и действиями, но их проработка не может быть исключительно спекулятивным вопросом.

### *Библиография*

- Булл М. Анти-Ницше. М.: Издательский дом «Дело», 2016.
- Деррида Ж. Фрейд и сцена письма // Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000. С. 319–369.
- Ильф И., Петров Е. Золотой теленок. М.: Вагриус, 2000.
- Торо Г. Д. Уолден, или Жизнь в лесу. М.: Издательство АН СССР, 1962.
- Эдмондс Д. Убили бы вы толстяка? Задача о вагонетке. М.: Издательство Института Гайдара, 2016.
- Barthes R. La Préparation du roman, I et II. P.: Seuil, 2003.
- Bourdieu P. Science of Science and Reflexivity. L.: Polity Press, 2004.
- Foster C. Being a Beast. L.: Profiles Books, 2016.
- Furley D. Self-Movers // Self-motion. From Aristotle to Newton / M. L. Gill, J. G. Lennox (eds). Princeton: Princeton University Press, 1994. P. 3–14.
- Litowitz B. E. Rejection, Refusal, Denial: Developing Capacities for Negation // On Freud's Negation / S. Akhtar, M. K. O'Neil (eds). L.: Karnac Books, 2011. P. 21–38.
- Mannoni O. Je sais bien, mais quand-même... // Clefs pour l'imaginaire ou l'autre scène. P.: Seuil, 1969. P. 9–33.
- Natali C. Actions et mouvements chez Aristote // Philosophie. 2002. Vol. 2. № 73. P. 12–35.
- Wilden A. System and Structure: Essays in Communication and Exchange. L.: Tavistock, 1972.

FOREST AND LABYRINTH. TOWARD AN ECOLOGY  
OF THE SUBJECT

DMITRIY KRALECHKIN. Philosopher, translator, independent scholar, Moscow,  
euroontology@mail.ru.

*Keywords:* subject; actions; movements; Henry David Thoreau; Roland Barthes;  
forest; labyrinth.

The concept of the subject is articulated here as a correlation between two terms — movements and actions. Classical theories of action presupposed the subject as a unique way to correlate movements and actions and to translate the one into the other. The “soul,” i.e., a natural complex of cognitive and volitional abilities, was a reliable tool for that translation. However, the modern period faces the problem of “the failure of the soul,” which brings about the concept of the subject. Different ways of translating movements into actions do not always permit stable subjectification, which indicates that “transport” is a mediating term in the opposition of movements and actions. There is an intermediary region between the “physics” of movement and the “ethics” of action, and that region is the “logic” of transport which is to be understood as an open-ended collection of ways to correlate movements with actions. The problematic function of transport becomes clear when it is impossible to rely on the soul as a black box that is responsible for the stability in the translation of movements into actions.

The solution to the problem of the failure of the soul appears particularly in Henry David Thoreau’s “forest,” which is constructed as a way to restore a classical ecology of the subject in the face of a proliferation of different modes of transport that threaten the uniformity of subjective experience. According to Roland Barthes’ seminar, the opposite of Thoreau’s “forest” would be the “labyrinth” as an anti-subject machine. The labyrinth is not merely a place of loss, but the production of loss that turns any movement into action or decision while at the same time cancelling any action and drawing the subject out of its own structure. Labyrinth and forest as alternatives to the classical construction of the subject delineate a general space for subjectification, which has problems that cannot be encompassed by theories of praxis.

DOI: 10.22394/0869-5377-2021-3-219-246

*References*

- Barthes R. *La Préparation du roman, I et II*, Paris, Seuil, 2003.  
Bourdieu P. *Science of Science and Reflexivity*, London, Polity Press, 2004.  
Bull M. *Anti-Nitsshe* [Anti-Nietzsche], Moscow, Delo, 2016.  
Derrida J. Freid i stsena pis'ma [Freud et la scène de l'écriture]. *Pis'mo i razlichie* [L'écriture et la différence], Moscow, Akademicheskii proekt, 2000, pp. 319–369.  
Edmonds D. *Ubili by vy tolstiaka? Zadacha o vagonetke* [Would You Kill the Fat Man? The Trolley Problem], Moscow, Gaidar Institute Press, 2016.  
Foster C. *Being a Beast*, London, Profiles Books, 2016.  
Furley D. *Self-Movers. Self-motion. From Aristotle to Newton* (eds M. L. Gill, J. G. Lennox), Princeton, Princeton University Press, 1994, pp. 3–14.  
Ilf I., Petrov E. *Zolotoi telenok* [The Little Golden Calf], Moscow, Vagrius, 2000.

- Litowitz B. E. Rejection, Refusal, Denial: Developing Capacities for Negation. *On Freud's Negation* (eds S. Akhtar, M. K. O'Neil), London, Karnac Books, 2011, pp. 21–38.
- Mannoni O. Je sais bien, mais quand-même... *Clefs pour l'imaginaire ou l'autre scène*, Paris, Seuil, 1969, pp. 9–33.
- Natali C. Actions et mouvements chez Aristote. *Philosophie*, 2002, vol. 2, no. 73, pp. 12–35.
- Thoreau H. D. *Uolden, ili Zhizn' v lesu* [Walden; or, Life in the Woods], Moscow, Izdatel'stvo AN SSSR, 1962.
- Wilden A. *System and Structure: Essays in Communication and Exchange*, London, Tavistock, 1972.